ТЕТРАДЬ У МУСОРНЫХ БАКОВ

ЗАПИСКИ ВОРОБЬЁВА

ВЛАДИМИР КРЮКОВ
Родился в 1949 году в селе Пудино Томской области. Окончил историко-филологический факультет Томского государственного университета. Работал учителем в сельских школах, в школе колонии строгого режима, сторожем, механиком телевизионного ретранслятора в райцентре, в газете Западно-Сибирского речного пароходства.
Первый сборник стихов — «С открытым окном» (1989). Автор нескольких сборников стихотворений и книг прозы, книги воспоминаний «Заметки о нашем времени». Печатался в столичных и региональных журналах, в русскоязычных альманахах Германии «Пилигрим» и «Эдита», в польском альманахе Aspekty. Стихи вошли в антологию «Пламень. Современная русская поэзия» (2009). Член Союза российских писателей.

Олег

Сегодня Ольга Николаевна взяла для себя свободный день. Значит, мне надо быть при месте. Может, явится новый возможный автор. А один аксакал точно будет. Надо пролистать его будущую книгу мемуаров. Даже не мемуаров. О чем там ему вспоминать? Но ему хочется придать некую значимость своей жизни. Окончил школу в деревне, но окончил с отличием и наладился в педагогический вуз. Наглядная история о преимуществах социализма, пресловутый социальный лифт. Из самых низов – к высшему образованию. Три года в школе, потом в чиновники райкома партии, а там и до заведующего отделом. Выше не поднялся. Так и до пенсии докатил. Верный функционер системы написал свою историю, когда ему было за восемьдесят, для детей, внуков и правнуков – вот уж точно осмысленный итог долгой жизни.

«Наиболее запомнилась мне смерть Иосифа Виссарионовича Сталина в марте 1953 года. Она была и большим трагическим событием для страны в целом. Авторитет его в народе был чрезвычайно велик. С его именем солдаты шли в бой, под его мудрым руководством страна успешно преодолевала военную разруху, решала проблемы мирового масштаба по укреплению мира во всем мире.

Смерть И.В. Сталина потрясла всю страну. Абсолютное большинство населения СССР с великой скорбью прощались с ним. Многие люди плакали, и я тоже.

Вся моя недолгая жизнь была связана с его именем. Про него мы в школе пели песни, рассказывали стихи. У многих возникал вопрос: “А как мы теперь жить будем без Сталина?” Это было трудно представить, потому что все стороны жизни советских людей были связаны с его именем».

Легкий стук в дверь, и появляется старушка. Нет, лучше сказать – пожилая женщина. Аккуратно причесана, длинное серое платье, на шее темные бусы, кажется, дерево. Встаю, приглашаю пройти, садиться. И вот она у стола, рассказывает, что живет неподалеку, учительница, уже на пенсии. Многое ей в сегодняшней жизни непонятно, ко многому приспособилась. Но вот мимо книг, вынесенных к мусорным контейнерам, пройти никак невозможно. Хорошо хоть, не в мусорку кидают. И она уносит эти связки домой, там разбирает книги и пристраивает их по знакомым, стараясь, чтобы это совпадало с их интересами. И, слава богу, получается. Книги обретают новых хозяев. А что-то она себе оставляет.

– Впрочем, простите, я заболталась, – останавливает она себя. – А это уже совсем недавно. Опять связка книг. И женщина мне сказала: это книги соседа-покойника, одиночки. Это она их вынесла: авось кому понадобятся. Я забираю и среди

книг нахожу вот эту тетрадь. Просто не знаю, что с ней делать. Отнести в архив? Тут ни имени, ни фамилии. Но тут что-то другое. Тут человеческая жизнь. И так не хочется думать, что она уже никому не нужна.

А я недалеко живу, прохожу иногда мимо вашего издательства. Ну вот надумала зайти, посоветоваться. Может, думаю, найдется человек, который меня поймет. Вы посмотрите, почитайте, может быть, вам покажется интересным. А я, с вашего позволения, еще зайду.

И она уходит, оставив на моем столе черную клеенчатую тетрадь – порождение прошлого века. На внутренней стороне обложки напечатано: «МПО “Восход”. Общая тетрадь. ГОСТ 13309. 96 листов. Цена 44 коп.».

Я начал читать, не откладывая, зная за собой такое: сунешь тетрадь куда-то в ящик и забудешь. Потом придет эта женщина, которая понравилась мне спокойствием и опрятностью, и что я ей скажу?

Начало показалось мне интересным. Впрочем, потом уже я понял, что тут нет начала в принятом смысле этого слова и последовательности никакой нет. Но была какая-то своя интонация, что ли. А эпизод с загородным рестораном я уже читал с особым чувством причастности.

Тетрадь неизвестного

К моему и не начатому роману уже придуман эпиграф:

И возле здания вокзала
Она мне «Я люблю, – сказала, –
Когда отходят поезда,
И над уснувшими домами,
Владея нашими умами,
Восходит первая звезда».

Надо полагать: светлое, романтическое восприятие жизни.

Когда-то давно я сложил рассказ под названием «Падает снег», отправил в «Юность», откуда пришел ответ, разделавший под орех мое творение. И, в частности, отмечена была избыточная его сентиментальность.

Думал, рассказик благополучно затерялся. Ан нет. Вот его фрагмент.

«Это был просто вечер. Обычный вечер в нашей комнате общежития. Крутили пластинки, все были веселы. Мы ждали в гости девчонок, с некоторым нетерпением ждали.

Это были наши новые знакомые. Первокурсницы.

И вот они постучали, стали проходить в комнату: двое, трое, четверо. И я потерялся в глазах этой четвертой. Они вдруг заполнили собой все, я чувствовал: вокруг нас море, пальцы мои впились в борта лодки, и она… идущая по волнам… Это длилось только мгновение. Я снова обрел способность говорить и двигаться в пространстве нашей комнаты. А потому поклонился, по-мушкетерски помахивая несуществующей шляпой. И вот она сидит, вся в белом, темные глаза, тонкие руки. В глазах ее мерцают огоньки – отражения нашей интимно притушенной лампы. Вот она подняла голову, протянула мне руки, принимая приглашение танцевать. Я следил пораженно за темными грустными глазами…»

Боже мой, и вправду чересчур.

Но студенческое общежитие – одно из лучших воспоминаний. Да что там: лучшее время всей моей жизни. Помнятся мне мои сокурсники, товарищи, соседи по комнате.

В этой небольшой комнате нас располагалось семеро. Три двухъярусные металлические кровати с жесткими сетками. И одна, над которой уже никто не нависал, – здесь спал Гриша. Мы с Геной, как первокурсники, салаги (здесь применялся этот армейско-флотский термин), занимали верхние койки. И компанию нам составлял Володя, студент третьего курса, который находил плюсы в этом положении – никто из гостей не сядет на твое место, не потревожит твою красиво заправленную постель. И его сокурсник Толя с этим соглашался.

Удивительное дело: нам было не тесно, мы не мешали друг другу даже по утрам, когда более или менее в одно время поднимались, шли умываться в угловую комнату коридора, одевались, чтобы идти на лекции.

Какой счастливый случай свел нас на этих невеликих квадратных метрах! Что нас объединило? Литература? Дух времени? Но, ей-богу, все мы жили как родные люди. Нет, не все. Был еще один «сожитель» – тихий, исправно посещавший лекции и семинары. Фамилия у него была Разложко, и Гриша с юмором представлял нам дозированный процесс освоения им учебной программы: «Раз – ложка, два – ложка». И наконец, седьмой, крупный такой спортивный парень. Мы как-то увидели на стадионе, как он красиво мечет копье, звали его меж собой «Наш Ахилл». Но, конечно, он был не наш – друзья его жили в комнате по соседству.

Мои товарищи должны занять в будущем повествовании достойное место. И Гриша, который шагал по коридору главного университетского корпуса как по деревенской улице – широкой крестьянской походкой. А в столовой держал кусок хлеба аккурат-

И Володя, который в читальном зале научной библиотеки проходил мимо строгий, бледный, с замкнутым холодным лицом. Думалось: боже, да тот ли он, с которым живем в одной комнате, который с лукавой физиономией наклоняется к тебе и, приложив палец к губам, произносит нарочито важно, полушепотом: «Что есть женщина? Загадка мира!»

но – большим и указательным пальцами, остальные при этом чуть оттопырив. И Толик, который равно любил живопись и литературу, не признавал никаких праздничных заготовок – только импровизации – и называл наши вечера красивым словом «катарсис».

И Володя, который в читальном зале научной библиотеки проходил мимо строгий, бледный, с замкнутым холодным лицом. Думалось: боже, да тот ли он, с которым живем в одной комнате, который с лукавой физиономией наклоняется к тебе и, приложив палец к губам, произносит нарочито важно, полушепотом: «Что есть женщина? Загадка мира!»

* * *

Получится ли у меня сложить что-то цельное? Не знаю. Ведь я даже и не определил для себя, что это будет. И все-таки пишу. Разрозненные мои заметки – это уже кое-что.

* * *

Мы с Лешей Кувалдиным разыскивали по городу вино и закатились на окраину. Это была уже и не окраина, это был пригород. Там среди сосен стоял поселок.

В магазине, недавно отстроенном, с горящей неоном надписью «Романтик» мы увидели на полке напиток под названием «Кальвадос». Нам было по двадцать, и, несмотря на некоторый питейный опыт, не знали мы вкуса этого напитка. Но доставшаяся от славных шестидесятых любовь к Ремарку подсказывала, что это надобно немедленно брать и пробовать. Мы взяли бутыль и вышли на воздух. А была очень странная погода. Недавно стояли почти зимние дни, но теперь снег совсем ушел. И когда солнца не было, вот как сегодня, все кругом было серым, сырым, беспросветным. День протекал так: светло-серый, чуть светлее, потом возврат утреннего серого, а затем опускались сумерки. Висела в воздухе тяжеловатая сырость. И все-таки хорошо было: грустновато, спокойно.

Наш автобус недавно прокатил за окнами магазина – теперь его долго не будет. А рядом подмигивал неисправной неоновой буквой ресторан «Кедр». Помнится, открывали его торжественно, и желающих почтить новое заведение было немало. Поток схлынул. Но ресторан светил окнами и говорил о своей надежности и постоянстве. «А вот, Вася, и повод его почтить», – сказал мой спутник.

Мы вошли. Милая женщина приняла наши пальто, пригласила в зал. А там никого не было – вообще никого. И тихий полусвет, и так все чисто и хорошо. Уютно. Мы заняли столик. Тускло светились, стыли в этом уюте готовые нам служить ножи и вилки. Официантка спросила: «Вам просто пообедать?» Мы в свою очередь справились о пиве – пиво было, и вот оно уже у нас на столе. «Есть означенный в меню кролик?» – «Есть». – «Давайте его сюда». – «Надо чуть подождать, пока поджарят картофель». – «Подождем…»

И опять эта тишина. Сумерки за окнами хорошо ложились на душу. Я встал и с удовольствием прошелся по ковровой дорожке, осматривая пустые столики, пребывающие в терпеливом и, скорее всего, напрасном ожидании гостей. Появилась официантка с кроликом. Мы принялись за ужин, и прежде пива налили в стаканы добытый из портфеля кальвадос. И показался он нам замечательным! Официантка нажала кнопку музыкального автомата. Проникновенный голос французского шансонье с армянскими корнями долил сентиментала в наши стаканы.

Завершался этот чудесный вечер. В ожидании расчета мы сами бросали монеты в щель автомата. Он имел привычку не доигрывать до конца заказанную мелодию – своенравный автомат. То, что он во-

обще играл, было с его стороны одолжением нам, великодушием.

Наконец мы вышли в глухой мрак, почти ночь, а времени-то всего около восьми. Вот и автобус просквозил фарами между стволами, он приближался. Поспешили к нему под снегом, тихо падающим сверху и хрумкающим под ногой. Снег вдруг пошел гуще, вперемешку с дождем. Автобус распахнул перед нами двери как нельзя вовремя.

Олег

– Смотри, папа, вот тут про тебя написано. – Я прошел в комнату отца и протянул ему старую клеенчатую тетрадь. – Вот прямо открытым текстом: «Мы с Лешей Кувалдиным разыскивали по городу вино и закатились на окраину…»
– Ну-ка, ну-ка, дай мне поглядеть, – оживился отец. – Кто это?
– Тут в разговоре ты к нему обращаешься: «А вот, Вася…»
Отец пробежал тетрадную страницу.
– Слушай, просто невероятно. Это же Вася Воробьёв! – сказал отец. – Да ты его видел. Помню, ты пришел с работы, а он у меня сидел.
– Он умер, – говорю отцу.
– С чего ты взял?
– Эту тетрадь принесла пожилая женщина, сказала, что нашла в связке книг, которые вынесли к мусорным контейнерам. А хозяин умер.
Отец молчал некоторое время.
– Да, это вполне может быть, – сказал, вздохнув. – Вася последние годы вел, что называется, нездоровый образ жизни. Ну ты меня понимаешь: пил много. Мы с ним лучшими друзьями не были, но и у меня пару раз сшибал на бутылку. Впрочем, не так говорю. Спрашивал вполне корректно. Ребята, кто по старой памяти заходит в «Букинист», видели его там с хорошими книгами. Да книги-то, видишь, не особенно стали нужны. Вот у меня «Дневник» Ренара – от него. Он как-то умел это сделать. Пришел в тот раз вполне трезвый, положил на стол. Я хотел какую-то денежку вручить, он обиделся: «Леха, это подарок. Я помню, ты мечтал иметь». Правда, так и было.
– Так вы учились вместе?
– Ну конечно, сокурсники. В студенчестве чаще общались, я у них в комнате общежития постоянно бывал. А потом, когда выпустились, жизнь у каждого по-своему пошла. Я-то, видишь, при родителях жил, условия вполне сносные. Что я говорю – приличные.

Отец поднял глаза на стены со стеллажами, на застекленные книжные шкафы, где стояли редкие, достаточно ценные книги, альбомы по искусству, бронзовые и фарфоровые статуэтки.
– Оставь мне полистать, – попросил отец. И опять я услышал оживление в этих трех словах. Оживление, которое не часто прорывалось последнее время в его общении со мной.

Назавтра вечером он уже сам пришлепал в своих полумягких тапках на кухню. Я только что пришел, разулся, крикнул ему «Привет!», вымыл руки и ткнул клавишу кофеварки.
– Ну, как день прошел? – спросил его как всегда.
Обычно он пожимал плечами, делился какой-нибудь новостью из телевизора или интернета. Но сегодня все было немного по-другому. Сел на стул у окна, легонько забарабанил пальцами по столу:
– Ты что думаешь пить?
Я по прихоти чередовал вечерами чай и кофе.
– А ты бы хотел чаю? – спрашиваю.
– Угадал, – отвечает он. – Сделай, будь ласков.
Эти его прибамбасы «данке шен», «будь ласков», «сорри» говорят о добром расположении духа.
– Ты знаешь, я сегодня Васину тетрадь читал.
– Догадываюсь. И как тебе?
– Трудно сказать, Олежка. По крайней мере, было интересно. Местами сильно пронимало. Знаешь, я узнавал ощущения, переживания тридцати-сорокалетней давности. Удивительно! Я вижу, как Вася бродил по жизни в поисках утраченного времени. По выражению тогдашнего кумира. Что ты собираешься с этим делать?
– Позволь, папа, я ведь еще и половины не прочел, – сказал я ему, разливая настоявшийся чай. – Что же я тебе отвечу? И обязательств никому не давал.
– Эти его заметки, фразы, наброски порой невнятные, даже обрывки юношеских стихов так и не сложились в нечто завершенное, – нетерпеливо продолжил отец. – Некоторые страницы вырваны, вклеены в другие места, перечеркнуты. Но ведь не выбросил, не спалил. Они необходимы ему были для будущей книги, которую он хотел написать, да не смог. Помнишь, как у Андрея Платонова: «Без меня народ неполный». Мне кажется, Вася именно об этом думал.
Отец принес из комнаты тетрадь. Некоторые листы были заложены белыми полосками.
– Вот, если хочешь, погляди эти странички. Хотя можно читать с любой.
Я начал с отцовских закладок.

Тетрадь Воробьёва

Итак, о чем же я хочу написать? О том, как мой друг тридцати с лишним лет все выбирал себе невесту и никак не мог жениться. Тоже мне – тема. Но, впрочем, Чехов не из таких ли мелочей… Но у Чехова еще было что-то кроме… Сумбур у меня в голове, мешанина. Однако это лучше, чем если бы ничего там не было вовсе. Интересно ли кому-то читать про нашу жизнь? А ведь мы были, мы пока еще есть. И нас волновали в пору ранней юности и события в Праге 1968 года, как бы ни перевирали их наши вузовские наставники. И высадка американцев на Луну в 69-м, как бы скупо и снисходительно ни писали об этом наши газеты. Но не чуждо было и вечное: лай собаки в ночи, головокружение от поцелуя, радость встречи с другом.

Да, герои мои не из тех, на ком мир держится. Они из той группки, что стоит возле белых колонн торжественного здания (по всему – университета). Один уверенно смотрит вперед, сжимая в руке книгу – источник знаний, другой поднял лицо в небо по примеру героя Толстого, третий, напротив, опустил глаза долу – он весь в сомнении: как жить, где его точка опоры…

Мы видели, что все вокруг нас не такое уж прочное и надежное, каким его нам изображали. Так в чем же спасение, на какие резервы можно рассчитывать. Нам казались тут союзниками американцы: Сэлинджер, Хемингуэй, Апдайк… Тогдашний любимец – француз Экзюпери. Есть внутренние душевные ресурсы, есть простая природная сопротивляемость социальной фальши.

Встречался мне в одной компании человечек – вертлявый такой и, как говорили в ту пору, *умненький*. Любил он сбивать серьезность спора внезапными репликами. И в этот раз:

– А слышали ли вы, что есть такой Генри Миллер? Тоже по Парижам ошивался со Скоттом и Хэмом. Тоже, наверное, их проблемами озадачивался. А потом посмотрел на это дело так: в жизни этой не больше логики, чем на бильярдном столе. Красиво? Так вот это не шестерка какая-нибудь – это великий Генри Миллер.

Откуда он вытянул имя, что знал о нем? Поди проверь – что за фигура. Но вульгарный цинизм этого Миллера в исполнении нашего *умненького* мне не понравился.

* * *

Я написал историю о злоключениях Коли Реморенко. Написал о том, как маленький человек пытается отстаивать свое достоинство. Как не дают ему спокойно жить после смерти матери в окраинной халупе-насыпушке. Как по привычке тащится к нему материн собутыльник, вымогая на портвешок или предлагая пить вместе. А Коля, беззащитный и мягкий, из последних сил отстаивает свою свободу. Он – баянист в заводской самодеятельности – живет в мире музыки, выкраивая рубли на симфонические концерты.

Я отнес рассказ на рецензию в местную писательскую организацию. И вот сидел у массивного старого стола, а передо мной, окруженный папками с рукописями, располагался писатель-профессионал. Ежик с проседью, неглупые живые глаза. Он говорил:

– Ну так о чем же ваша история? О том, как жить в ладах с совестью, да? А эти эпизоды о городском юродивом, эти анекдотические приключения? Вам жалко его, что ли?

Я кивнул. Писатель насмешливо прищурился:

– А я бы написал это с жесткой иронией. Молодой человек не может себя защитить? Чушь какая! Других сюжетов у вас как-то не возникало, что ли? Откуда эти?

– «Жизнь, должно быть, подсказала, наплела судьба сама», – пришли в голову строки стихотворения Арсения Тарковского.

Да, писателю явно не понравилось. Но дельного совета он не даст. И вдруг ясно предстало: самому надо определенно знать, что я хочу сделать.

* * *

Быстро опротивела газета. Это совсем не то, что было раньше, когда в студенчестве время от времени заносил туда свои заметки. Теперь это – каждодневная рутина. Я не пишу передовицы или отчеты с разных конференций. И все равно ничего хорошего не получается. Мои размышления *по поводу* какого-то события спокойно и безжалостно отрубает ответсекретарь. Творческие планы непременно сверяются с теми, кто «наверху». Можно ли писать об этом художнике? Нет, лучше о том, который на выставке «Сибирь социалистическая» представил большое полотно «К новым буровым». Помню я это полотно. Художник не пожалел красок в самом прикладном смысле – мы с товарищем отколупнули на память по кусочку от зеленой травы под сапогами геологов.

Живые диалоги газета вообще не любит. Цифры, факты и зарисовка погоды для оживления.

Мне тоже хочется понять свое время. Дорожить им. Помнить, что оно когда-нибудь закончится. Наш путь от рождения до смерти – это дорога, по которой можно ехать только в одну сторону.

Записывал то, что видел и слышал на совхозных полях, в гаражах и на фермах. Это не годилось для газетных материалов, но, может быть, пригодится для будущей прозы.

Помню в каком-то фильме нацистскую кинохронику: публичное сожжение книг на площади. У нас все это делалось по-тихому. В селе, где работала моя тетя, я как-то зашел в библиотеку и увидел в углу настоящую расправу с книгами. Нужно было вырвать блок из переплета, книжки помельче можно было просто порвать пополам. Потом все это уничтожить. Все *это*! То, что прошло бдительную редактуру и цензуру, выпущено было официальными советскими издательствами, принято критикой. Причины для этой расправы? Автор выслан на Запад или остался там, не пожелав возвращаться из командировки, исключен из советского союза писателей. Ужасно! А книги-то вполне проверенные, вполне наши.

Остался ночевать у друга Володьки в его пригородном поселке. Вышел перед сном во двор. В воздухе запахи поздней весны. Город вдали казался разворошенным догорающим костром. Так же, как искорки, перемигивались его огоньки. Легкая розовая дымка еще висела в воздухе, но темнело с каждой минутой, и она истончалась почти в ничто. Пахли дрова, нагретые днем и теперь остывающие, пахнула вода в деревянной бочке.

Из города доносились перестуки, приглушенные звоны (трамваи, что ли?) и постоянный гуд, не утомляющий, потому что негромкий. Красной точкой прошел самолет. Сумрак сгустился. Сильно запахло цветущей черемухой. Как сигаретка, тлела вдалеке телевизионная вышка. Вверху небо еще светилось последним светло-зеленым, переходящим в огромную синь всего небосвода.

Есть у каждого человека осознание своей неслучайности на этом свете, какого-то своего (пусть невеликого) предназначения, которое надо исполнить. И не нужно искать оправдания в своей житейской неустроенности. Ведь если еще поместить свои невезухи, невзгоды в сосуд общих мировых скорбей и бед, окажется, что там они – сущий пустяк, капля, безделица.

Олег

Прочитывая эти страницы, я вдруг пережил странную жалость к создателю текста. Мне показалось, он и сам сокрушенно понимал, что не справляется с материалом. А хуже того, так и не может для себя определить, чего же ему хочется. Зачем он делал эти записи, когда не знал, как они встроятся в его большой задуманный текст?

Я ничего не знаю о том, как он жил, были у него дети или нет. Да, наверное, он видел в окружающей журналистике или беллетристике ту самую лакировку действительности, о которой нам рассказывали на лекциях. И, что называется, писал в стол. Но как неглупый человек понимал несоразмерность своих способностей с тем, что он задумал. А ведь он задумал – ни много ни мало – срез современной ему жизни. Смирился ли он с тем, что делает эти заметки для себя почти механически, что ли. Что он не может не записывать того, что видел, слышал, что приходило в голову. Осознал ли он наконец, что нет у него таланта осмыслить, выстроить, организовать этот материал? Тяжким для него было это прозрение или смирился с данностью? Так пока непонятным это остается. Во всяком случае, ему пришлось отложить свой великий замысел, а потом и попросту отступиться от него, оставить свою мечту юных лет.

И вообще: хотелось ли ему обрести литературную известность? Насколько была бы она долговечна? Какое странное слово, в котором кроме «долготы» звучит и «вечность».

Он хотел писать без оглядки на цензуру и, конечно, не проскочил бы ее рогаток. А сегодня цензуры нет, но та его правда никому уже не нужна.

Так он и не обессмертил свое время и, прожив свой отрезок в нем, растворился в этом непостижимом потоке.

Мне тоже хочется понять свое время. Дорожить им. Помнить, что оно когда-нибудь закончится. Наш

путь от рождения до смерти – это дорога, по которой можно ехать только в одну сторону.

Назавтра, после предварительного звонка, появился тот самый функционер, месяц назад определивший к нам свои мемуары. О какой-то редактуре он тогда речи не заводил. Попросил проглядеть их «на предмет возможных ошибок, по большей части в пунктуации». И слава богу. Мне хватило двух страниц. Там, где про смерть Сталина и о «прикосновении к прекрасному».

Вот эти прикосновения:

«После вдохновляющих встреч с настоящим искусством (посещение Третьяковки, музея имени Пушкина) очень хотелось творить самому. Но времени не хватало. Работа, заочная учеба, общественная работа занимали все время. И все же, хоть изредка, я выкраивал время для живописи. Писал преимущественно пейзажи и натюрморты, пытался писать и портреты. Будучи директором школы, написал большой портрет В.И. Ленина. В школе не было большого портрета, а потребность в нем была. Портрет много лет висел в коридоре школы. После перехода на партийную и советскую работу занятия живописью прекратились, но не ослабла любовь к прекрасному.

В область пошел поток художественных высших ценностей в форме выступлений целых театральных коллективов, ансамблей, групп писателей, композиторов, артистов, именитых художников. Мы с Надеждой Васильевной едва успевали посещать эти встречи».

Функционер этот – звали его Михаил Сергеевич – был вполне импозантен. Совершенно седой, но аккуратно причесанный, подтянутый, держался очень прямо, ступал легко. И рукопожатие его было энергичным, совсем не формальным. Я сказал ему, что наша корректор внимательно прочла рукопись, и у нее есть три-четыре стилистических замечания. Эти места мы с ним просмотрели, он согласился с правкой. Я сказал ему, что текст можно отдавать в печать. Он вынул бумажник и новенькими купюрами отсчитал положенный аванс.

– Дети помогают, – пояснил он мне со спокойной и законной гордостью.

Ну что ж, этим, наверное, можно гордиться.

А вот на краю стола и еще одна готовая к печати книга. Это стихотворения поэта, которого не печатали при советской власти. Сейчас друзья и поклонники собрали деньги на издание, стихи наконец придут к читателю – справедливость будет восстановлена.

Меня его строки не очень тронули, в них есть некая надмирность, что ли, его мало заботит, как будет принято то, что он пишет. Но зато как богата и разнообразна биография, в отличие от функционера. Работал грузчиком, плотником-бетонщиком, вахтером, дворником, сторожем, истопником-кочегаром, маляром, печатником, маркером… У Льва Николаевича Толстого есть рассказ «Записки маркёра», к сожалению, мной не читанный. Я заглянул в «Википедию». «Маркёр – сотрудник зала для бильярда, непосредственно осуществляющий обслуживание игроков и контроль за игрой. Именно он предоставляет стол и снаряжает игроков всем необходимым для игры. Маркёр – это незаменимый работник бильярдного клуба, который в какой-то степени является лицом заведения. Только влюбленный в свою профессию человек, великолепно знающий все нюансы игры, может работать в этой должности». Замечательно!

Как все-таки хочется человеку продлить свое пребывание во времени на этой земле в любой доступной ему форме! Печатное слово – не худшая из них. Вот наследники функционера поставят книгу на полку, будут открывать, что-то проглядывать, смотреть на фотоснимки. Тем более что их немало и частью цветные – дети не пожалели денег.

И опального поэта будут читать. И те, кто содействует выходу книжки, и те, кого они приобщат к этому, – их товарищи, их наследники, наконец. В итоге читателей у него будет больше, чем, скажем, у Батюшкова или даже Ходасевича. Сегодня из поэтов подлежит обязательному прочтению Бродский, ну и те, кого он благосклонно отметил в своих заметках, – Мандельштам, Цветаева…

Но мысли мои постоянно возвращались к Воробьёву. Вот ведь какой случай: его записи, наброски, заметки не складывались в книжку, даже самую невеликую по объему. И тем не менее его заготовки я прочитывал с интересом. И показалось мне, что никакие это не заготовки, а нечто вполне самостоятельное.

Я открыл еще одну отцовскую закладку.

Тетрадь Воробьёва

Бригадир калымщиков (1971)

Бригадир был, понятно, не в духе. Мелкий, противный дождь шел всю ночь и сейчас сеял. Ребята сидели на полу вагончика на скатанных матрацах.

Мишка всех вовлек в умную игру. Кто-то бросал шариковую ручку в газету, все с неподдельным интересом изучали дырку – какую же букву поразил стержень ручки. «Бэ!» – кричал Мишка. И все принимались писать на своих клочках бумаги. Потом оглашали: «Бабель, Бальзак, Белль, Бунин, Баратынский…» Так они развлекались. Пусть шумят. Не хватало только, чтобы они расклеились. Бригадир обул сапоги, надел грязный и просторный плащ, вылез из вагончика.

Влажная трава у двери прошлась по сапогам. Березы вздрагивали под каплями. Дождь был не в радость, не было в нем летней свежести и безалаберности. Нудный, отупляющий дождь. А ведь только начало августа. Лето, конечно, еще будет. Будет уверенное созревание плодов и августовские запахи грибов и горячей травы. Вернется запах клубничных полян вокруг вагончика.

Вот в каком благословенном месте разместились они, возводя корпус для будущего птицесовхоза. Сейчас серая коробка недостроенного птичника странно гармонировала с нависшим серым небом.

Бригадир шел к прорабу и думал: «Даже если дождь сейчас кончится, дорога не просохнет до следующего утра. Машина и кран не пройдут. Подошла пора перекрытий, нужно выходить на кровлю. Сколько мы возьмем с объекта, если оставим его недостроем? Скоро ребятам дергать на занятия».

Бригада эта воспринималась им несколько иронично. Здесь не было бывалых калымщиков, с которыми он привык иметь дело. Это были парни-гуманитарии, с которыми он общался больше по зиме у них в общежитии. Или на занятиях литературного объединения. Но на его предложение что-то заработать летом все они так охотно откликнулись, что куда же было деваться. И сейчас он думал, что никак нельзя их подвести, что они ему вполне доверились. Они не сачкуют, они рассчитывают на заработанные рубли купить себе новые рубашки и башмаки, кто-то нацелился на джинсы или польскую добротную и модную куртку.

Прораб был мужиком неплохим. Он с пониманием слушал бригадира, но помочь ничем не мог. Трактор на объект не придет – сломался. Да и на пилораме сбой – брус забрали на ремонт клуба, завтра, может быть, только примутся пилить для птичника.

Бригадир уходил, пил пиво на окраине поселка, шел к своим юным товарищам.

Издалека было слышно:

– Стивенсон! Есть! Сартр? Есть! А у тебя? Смоллетт! Ух ты, победил, эрудит!

Бригадир забирался в вагончик, скидывал сырой плащ. Парни меняли род занятий. Мишка тихо напевал любимый романс «Я ехала домой», и получалось у него трогательно и проникновенно. Витька открывал книгу под названием «Запад – Восток». Остальные листали что-то свое.

Бригадир брал ручку, чистый листок, садился в угол и записывал:

Вода свежа, спокойна, глубока.
Прекрасна недозревшая калина.

Это был пока набросок. Записывал и то, что уже вполне складывалось в картинку:

Издалека, из-за Уртама,
Тянулась радуга до туч,
Картавил гром и, как подранок,
Валился дождь, певуч.

Он падал истово и сладко,
Как послесловие к любви.
Гордясь красивою посадкой,
Шел катер по Оби.

Так красиво – Уртам – называлось село невдалеке от их сегодняшнего калыма. И Обь катила свои серые воды тоже не так далеко. И, позволяя ребятам расслабиться, он вместе с ними приходил на обский берег, и они плавали, валялись на песке…

По зиме общение с филологами продолжится. И у него будет что прочитать на встречах с университетскими стихотворцами.

Но сегодня – другие заботы.

Олег

Тетрадь Воробьёва сблизила нас с отцом. Я не скажу, что мы с ним слишком отдалились друг от друга. Но надо признаться: общение наше было во многом дежурным, не выходящим за пределы домашних дел и забот, которых и было-то немного. И все-таки своя семья занимала меня гораздо больше. Теперь, когда жена Ольга и сын Глеб уже почти неделю гостили у ее мамы в Краснодарском крае и когда появилась на свет эта тетрадь, мы постоянно говорили с отцом. Я больше слушал. Отец вспоминал давнее время.

– Ты знаешь, меня, видимо, можно считать классическим конформистом. Даже в пору студенческого свободомыслия я почти не ввязывался в споры, что кипели в комнатах общежития. Я тогда уже был участником научных кружков, выбирал для себя темы будущих, сугубо научных занятий. Эта борьба за свободу самовыражения мне была совершенно чужда. Оттого самые крутые, как вы

нынче говорите, самые радикальные ребята меня даже отчасти презирали. Но не Василий. Мы с ним любили поэзию. Я – старую русскую, начиная от Державина, он – больше то, что называют Серебряным веком. Бывали у нас прогулки по городу. Тогда мы читали друг другу наизусть. Он очень любил закоулки, старые деревянные дома – да и кто их не любит? Те, что сейчас помаленьку уходят с карты города. Вася и сам сочинял стихи, но свое считал сырым, подражательным, не обнародовал.

Помнишь у него рассказ о бригадире калымщиков? Я его тоже знал. Там, в общежитии, и познакомились, в комнате Василия. Колоритная фигура! Во-первых, внешне: окладистая черная борода, горящие глаза. Красивый голос, он умел подать свои стихи. Да они и были крепкие, звучные. Помню, Вася ему завидовал. Так вот, этот поэт, Федор его звали, никаких попыток куда-то пробиться, напечататься не делал. И никак этим не кичился, просто говорил, что не играет в такие игры.

И вот в те годы приехал в наш город Евтушенко, тогда вполне в цвете славы. Полный зал во дворце зрелищ и спорта. Общение со студенческой братией. И в нашем литобъединении тоже. Читали ребята ему свои стишки. И Федор там оказался, прочел среди прочих. А Евтух просил его читать еще и еще. Вскричал в восторге, что прославит на всю страну, увез с собою подборку, адрес в записную книжку черкнул. Ну я тебе скажу: последствий не было. Но авторитет Феди, и без того высокий, только укрепился. Это я к чему? Федор любил Васины стихи, уверял, что тот вырастет в серьезного поэта, надо только не лениться, работать. Мне кажется, Вася к нему прислушивался. Но целиком стихам не отдался, сохранил какую-то разбросанность…

Ну вот. Выпуск наш, как ты знаешь, пришелся на год Московской олимпиады и смерти Высоцкого. Мне предложили аспирантуру. Вася устроился тоже, по тем представлениям, совсем неплохо. Взяли в молодежную газету. Он во студенчестве там печатал материалы о поэтических вечерах, поручали ему интервью с режиссерами, актерами театров, приезжавшими к нам на гастроли, знали, что он сделает грамотно. Но работать в штате редакции было явно не для него. А в чем был его главный интерес, я так и не узнал.

Года через три встретил его на улице, и он признался, что бросил бы это в любой день и час. Однако же, как писали в старину, судьбе было угодно, чтобы не бросил. Именно эта опротивевшая газета и сделала ему лучший, наверное, подарок его жизни. В каком-то селе он зашел в библиотеку и влюбился в девчушку-библиотекаршу, вчерашнюю школьницу. Нет, говорил он потом, не влюбился, а сразу, с ходу полюбил. Большинство из наших уже были женаты, а кое-кто и не по первому разу.

– Ты видел его избранницу? – спросил я. – Чем она его пленила?
– Встретил я их на органном концерте, – сказал отец. – Мы с твоей мамой на входе в зал их встретили. Вася светился весь. Те, кто с ними чаще виделись, говорили: ну просто вторую молодость переживал.
– Папа, ты про нее скажи.
– А, ну да. Красивая была девушка. И глаза – умные и живые. Это запомнилось.

Я попросил его рассказать все, что он знает о жизни Василия после женитьбы и дальше. И вот что я узнал. Жили они в «однёшке», которую он получил от редакции. Видимо, потому и влачил газетчину, что неловко было после этого сразу бросить. Наверняка светило бы расширение жилплощади, если бы Василий не попал в историю. Теперь она известна как «дело книжников». Про это даже фильм сняли на нашей независимой телестудии. Читали люди запрещенную тогда литературу, а под запретом были не только Солженицын и журнал «Континент», что понятно, но и ненапечатанные у нас вещи Платонова и «Собачье сердце» Булгакова. И Набоков, собрание сочинений которого сейчас стоит на моей полке. Такой вот бред недавней поры.

А среди читателей был и товарищ отца – университетский преподаватель. Он-то и рассказал отцу, что Василий вел себя в этом деле достойно. Там, в КГБ, их склоняли к тому, чтобы они покаялись и осудили главных «виновников», тех, кто эту литературу привозил, кто их «вовлекал». Так вот Василий там сказал, что он, по его разумению, имеет право читать все, что напечатано. И на этом настаивал. Трое причастных к этому делу получили реальные сроки. Василия с работы уволили. Устроился он – сокурсник помог – в один техникум преподавать историю. В их семье родилась дочь. Вскоре в стране настали перемены. В эти годы подборки стихотворений Василия Воробьёва напечатали центральные журналы. А работал он в том же техникуме, преобразованном в колледж.

– Ну вот, – вздохнул отец, подступая к самому тяжелому. – Несколько лет назад жена его и дочь поехали летом в ее родное село к матери в гости. И там, на дороге, в автобус въехал КамАЗ. Водитель автобуса и трое пассажиров – насмерть.

И вряд ли можно устроить дальнейшую жизнь так хорошо, что можно было бы удовлетвориться морально, даже достигнув достаточно материального, изменив, поломав то, что было создано вашим коротким совместным прошлым.

И они… в числе троих. И с тех дней Вася сошел с рельсов. Техникум он оставил. Свою невеликую пенсию, скажем прямо, пропивал. Что тут можно было поделать? Бывал он у меня несколько раз. Выставлял я бутылку, пили. Потом увещевать его пытался. Не понравилось ему – и перестал заходить.

Ну, Олежка, ты помнишь, конечно, как мама твоя быстро сгорела в своей болезни? Разве не любил я ее? Сильно любил. И тоже в алкоголь окунулся. Но вынырнул – надо было жить дальше.

– Все-таки, папа, тут немного другой случай.
– Да, конечно, я понимаю.

Последняя запись в тетради Воробьёва

И что мы в этой жизни значим?
Теперь уж каждому по вере.
Погребена *с великим плачем*
Невосполнимая потеря.

Были в моей жизни увлечения. Кажется, я всегда понимал их временность, что ли. А в случае с тобой как произошло? Сам я вышел на это или вынесло какой оказией? Но главное: не пропустил. И вот – совпало. Когда ты появилась, сразу возникло понимание, нет, ощущение твоей *необходимости*. Именно необходимости.

Не знаю, в первую ли встречу, в следующую ли я полюбил безоглядно. Сразу понял, что это не из тех влюбленностей, которые случались прежде. Никогда до этого не думал о создании семьи, о желании, что называется, вместе с кем-то идти по жизни. А тут понял, что это серьезно. Каким образом? Чутьем, что ли.

В лесу, на поле, у реки ты могла назвать по имени любое дерево, кустарник, цветок и травинку. Любую! Откуда это? Ссылалась на бабушку, маму. Мы ходили на луга, собирали зверобой и душицу. Ты заваривала их в удивительно точной пропорции с чаем (пусть даже второсортным грузинским), и получалось душисто и вкусно.

Как быстро ты создавала замечательные обеды из тех продуктов, которые мы могли себе позволить! В магазинах почти ничего, а рынок не по карману. Это было одним из твоих чудес – суп из ничего. Как бы мы жили на наши заработки без этого твоего умения? А мы еще и не отказывали себе в хороших книгах, пластинках, а после ночных купаний в реке нередко открывали красное сухое вино – «Медвежья кровь» или что-то другое.

Нет, наши годы не были безоблачны. Вдруг мне показалось, что жизнь движется по какому-то кругу, бежит по заданной колее. Вспомнил Ахматову: «Мне подменили жизнь. В другое русло, мимо другого потекла она…» Пришло ощущение исчерпанности пребывания вместе. Может быть, такое бывает у всех. Но посчитал нужным не врать и себе, и тебе. А что значит «не врать»? Не забыть тяжелых ссор от непонимания. А ты поняла, почувствовала, какой это может обернуться бедой.

Никогда не забуду, как ты плакала после каких-то моих необдуманных слов. Плакала в голос, навзрыд, а потом тише, глядя на меня так, как будто это – прощание. Я стал успокаивать тебя какими-то нелепыми словами. И ты сказала вдруг: «Как ты не понимаешь, что нам нельзя расставаться?» Я залопотал что-то виноватое. И тогда ты улыбнулась – никогда не забыть – сначала холодно, отчужденно. Опустила лицо, потом снова улыбнулась, глядя на меня с надеждой.

Тут пришло письмо от твоей мамы. В Татьяне Семеновне было то, чего недоставало мне в родной матери: понимание другого человека, желание понять, чем живет этот другой. Она читала то, что читали мы, слушала нашу музыку, наши песни. Помню ее лицо, когда Камбурова пела Окуджаву: «Дождик осенний, поплачь обо мне…»

Ты, конечно, не могла не поделиться с нею тем нездоровым, что происходило между нами. Оно сохранилось – это ее письмо. Почуяв неладное, она так хотела спасти наш союз, она находила какие-то христианские аргументы, просила подумать, не

спешить. Так это просто и деликатно написано, что сердце щемит.

Она сделала нечто вроде заглавия.

На мой взгляд

(из собственного опыта)

Берегите друг друга. Гнездо свое. Берегите семью свою, чтобы был шанс на будущее, то есть тепло души другого грело бы каждого из вас в трудные минуты и дни, где бы вы ни находились в дальнейшем. И вряд ли можно устроить дальнейшую жизнь так хорошо, что можно было бы удовлетвориться *морально*, даже достигнув достаточно материального, изменив, поломав то, что было создано вашим коротким совместным прошлым.

Слава богу – и не без поддержки Татьяны Семеновны – прошло это наваждение, отхлынула дурь, омрачающая сознание. И продолжилось замечательное время лыжных прогулок, летних походов за травами и ночных купаний, чтения и звуков симфонии Калинникова.

А ты, моя бедная красавица-дочь, и до выпускного класса не дожила. Недавно проснулся в испарине, увидел во сне то, что было когда-то в жизни. Схватив тебя в охапку, я бежал в поликлинику, чтобы спасти глаз, неосторожно задетый прутиком. Тогда, слава богу, все обошлось. Но во сне переживалось снова: тревога, даже страх, отчаяние…

Я понимаю: ничто не забудется, не изгладится. Алкоголь приносит освобождение, но совсем ненадолго. Однако я уже так втянулся в пьянство. Какая неизбывная тоска!

Олег

В архиве «Журнального зала» я нашел прекрасные стихи Василия Воробьёва.

Увечные, злые, ручные,
На нарах в уюте квартир,
В свои государства ночные
Мы едем, минуя ОВИР.

Постельная дивная пропасть,
В которую сладко упасть!
И сна шелестящая лопасть
Развеет любую напасть.

И предугадать невозможно,
Кем будет расцвечен твой мозг.
Но тот ошалевший художник
Все чаще – Дали или Босх.

Морфея и морфия дети,
Скитальцы по собственным снам,
Все тщимся найти на рассвете
Дорогу в единственный Храм.

И мозг для безумия тесен,
Когда его полнит сверх мер
Кошмаров ажурная плесень,
Шарманка и музыка сфер.*

По-разному формировало людей одно и то же время. Они либо противились ему – и их уродовало, либо предпочитали, чтобы оно обкатывало их, как поток воды камешки в реке. А кто-то пытался просквозить, вообще не желая знать, требует оно от них чего-то или к ним равнодушно.

Эк меня понесло! Видимо, справедливо, что все увидится со стороны и на расстоянии. И что мы значим? И для кого? Хотя бы для самых близких? Но в случае Василия Воробьёва и эта цепочка оборвана. Впрочем, нет. Ведь я сейчас держу ее, не желая бросить, а напротив, хочу протянуть хотя бы в очевидное (то есть видное очами) будущее. Каким образом? Этот вопрос мне и предстоит разрешить.

* Стихи Юрия Митрофанова.